

В звёздных небесах детства

25

Я РОДИЛСЯ ещё при жизни Сталина, в 1951 году в Казани на улице Комлева*, где, кстати, родились мои старшие коллеги по перу Василий Аксёнов и Рустем Кутуй, где впоследствии обосновался Союз писателей и где, сделав немалый жизненный крюк, довелось мне в этом доме литераторов на родной улице поработать бок о бок со многими другими писателями, которые на этой улице рождены не были. Духовно, однако, – вполне возможно. О некоторых из них расскажу позже, в других главах.

Надо понимать, что все мы рождаемся не на улицах своего детства, туда нас привозят из родильных домов. Я на свет появился далековато от названной выше улицы – в Доме Юнусовых-Апанаевых, красивом, восточного типа особняке с угловым эркером, увенчанным шатровой башенкой, с огромными декоративными окнами под ним, сложными аттиками над карнизом, лепными вензелями, дубовой резной дверью парадного входа... Просто сказка посреди города! Возведённое в начале XIX века городским головой Татарской ратуши Мухамет-Рахимом Юнусовым здание не раз затем перестраивалось. Значительную перестройку осуществила купеческая семья Апанаевых в 1906 году, ставшая последующим владельцем особняка. Эта дата и красуется на его фасаде. В советское время здание было приспособлено под роддом. Оно находится на улице тогда Тукаевской, ныне Габдуллы Тукая, во главе Юнусовской площади-сквера. Особняк этот и сегодня

– одно из самых примечательных украшений города.

На Комлева же меня ждал одноэтажный, деревянный, с окнами на уровне земли домик в глубине двора, расположенного практически сразу за угловым гастрономом «Горняк**», что по Бутлерова, а на нашу улицу – торцом. Некогда мой отец привёл сюда в гости свою будущую жену, молоденькую певицу Оперного театра, то есть мою маму. Она огляделась, увидела на полке в прихожей добротный ряд хозяйственного мыла и подумала: «Хозяйственный мужчина!» И согласилась выйти за него замуж. Так мама сама, посмеиваясь, рассказывала.

Во дворе была ещё одна халупа, а также сараи, уборная... За сараями – большой сад с фонтаном и детская клиника (бывший особняк хлеботорговца Оконишникова), куда меня, двухлетнего, с заболевшим животиком отнёс отец. Он рассказывал, как заглядывал в приоткрытую дверь палаты: я сидел на кровати и смотрел с не по-детски задумчивым взглядом в окно. Почему не зашёл? Не знаю. Когда Союз писателей переезжал из Дома печати с улицы Баумана в особняк на Комлева, председатель правления СП Туфан Миннуллин сказал: «Спроси у отца: где была та палата, мы тебе там кабинет устроим».

**** Так в народе называли гастроном, где по талонам отоваривались шахтёры, работавшие на различных шахтах страны и бывшие передовым классом государства. Вспомните только имя Алексея Стаханова и движение стахановцев! Татары в шутку величали своих сородичей-шахтёров зимогорами.**

* Теперь это улица Муштари.

Наша семья из пяти человек – родители и, кроме меня, самого младшего, сестра с братом – ютилась в одной комнате, в другой – одинокая соседка тётя Лиза. Когда мои родители отсутствовали, она оставалась за них, и мы звали её Туган-апа* – так и пристало к ней это имя. Особенно она любила мою сестру Раилю, которая старше меня на пять лет. С тётей Лизой мы не расставались даже тогда, когда разъехались по разным частям города – ходили с сестрой к ней в гости, ночевали у неё...

Раз уж завёл о соседке, то в двух словах об одном эпизоде, который был ещё до меня. Как-то, когда все только вселились в этот дом, она пожаловалась, что из погреба летят бесконечно какие-то мелкие мухи. Полез отец первопроходцем под пол, а там, в бочке с хламом, на ощупь головка капусты. Гниёт, вот и мухи, подумалось ему в мерцании керосиновой лампы. Но это не головка капусты оказалась, а полусгнившая голова человека. Брат рассказывал: затащали потом тётю Лизу с отцом в районную ментовку, да и в главную на Чёрном озере тоже. Но обошлось всё-таки. Признали, что до них криминал произошёл.

Разница в возрасте у меня с сестрой и братом – по пять годов. Так что брат мой Фоат, что означает с арабского *сердце, душа*, старше меня уже на десять лет. И он практически заменял мне отца, который, будучи артистом оригинального жанра, пропадал с выездными бригадами своей филармонии на гастролях. Мама, певица, меццо-сопрано, работала в театре оперы и балета имени Мусы Джалилия и возвращалась с вечерних спектаклей довольно поздно.

Жизнь в том нашем первом жилище из-за малолетства я больно-то не помню. Только по воспоминаниям брата. За стеной нашей комнаты в весьма просторной обители со своим отдельным входом жил священнослужитель. Брат рассказывал: это был добрый поп. На

Рождество и Пасху он угощал детвору разными вкусняшками, а когда возвращался домой один без пощады, раздавал ребятам по рублику. За водой ходили на колонку через дорогу. Она была старинная, из чугуна, и на ней сбоку чернела щель для приёма монет в полкопейки. Да, были даже и в советские времена такие монетки – 1925 года выпуска. Но это в прошлом. Для нас вода из колонки лилась бесплатно. Играть лазали в больничный сад и собирали каштаны из-под единственного каштанового дерева. Когда сад перешёл в собственность писательской организации, каштановое деревце я там нашёл, но оно было молодым, не из времён моего младенчества.

Через три года мы переехали на соседнюю улицу Бутлерова, по которой ходил трамвай № 2. Пол-остановки – и вот уже наше новое жильё. Для ориентира скажу: наискосок через дорогу чуть позже выросло огромное здание Медицинского института с колоннадой и декоративными шарами по краям лестничного марша.

Новое жильё наше было опять-таки в глубине двора. Оно представляло собой двухэтажное кирпичное сооружение. Первый этаж пустовал, там гулял ветер, а на втором поселились мы. Здесь прожили два с лишним года, и этот период жизни я уже фрагментами помню.

Так как переехали летом, всё-то показалось родителям шик-модерн. Но зимой одна из стенок в углу стала блестять инеем, а порой и льдом, то есть промерзать насквозь. Снизу тоже веяло холодом. Печь, которая делила удлинённую комнату на две части, приходилось топить два раза в день. За печью отец сработал для нас два яруса нечто вроде полатей. Он был мастер на все руки. И мы чудом пережили суровые времена года.

Вообще в памяти почему-то остались большей частью именно зимы... Они были снежными. И в одну из них мой брат с друзьями построил во дворе между нашим домом и краснокирпич-

* Туган-апа (тат.) – родная тётя.

ным брандмауэром* огромную крепость. В снежной горе, собранной со всего двора и даже с улицы, ребята прокопали ходы, лабиринты, пробили для наблюдения бойницы... Однажды вечером в наш снежный штаб забрался безработный сосед по двору, бывший фронтовик Набиулла-абый**. И не с пустыми руками – пирожками, термосом горячего чая. До этого он отличался только тем, что постоянно кричал на пацанов из своего окна, чтобы они вели себя во дворе потише. Скажу мягко, не вызывал он у ребят добрых чувств. А тут...

Помню, сидим при свечах, он что-то рассказывает, мы, удивлённые его миролюбием и угощением, жуём и слушаем, тени шевелятся на снежных стенах, с «потолка» капает – вкусно, интересно и незабываемо! В смысле обстановки, а что говорил тогда фронтовик, вот не помню. Много лет спустя я как-то разговорился с ним в Союзе писателей в Доме печати на Баумана, и он спросил: не сын ли я Габдулхая. Я ответил, что да, и вспомнил, как мы жили на Бутлерова и как угощались его пирожками при свечах в снежной крепости. «Было дело, – подтвердил ветеран и напомнил, что у нас была красная собачка и кролики. Откровенно говоря, кроликов я не помнил. «Маленький ты ещё был, за ними твой брат ухаживал, – объяснил он и добавил: – Времена, времена...». – Голос его был бесстрастен и глух. Больше о нашем прошлом дворе мы не заговаривали.

Другое воспоминание тоже зимнее. Ключ от входной двери в дом был необычной формы – с ручкой, как у автомобилей, с тупым четырёхгранным концом и весь металлический. Не знаю

* Брандмауэр (нем.) – противопожарная стена.

** Набиулла-абый – Наби Даули (1910–1989), писатель, ветеран войны, узник нацистских тюрем и лагерей, из которых неоднократно бежал и которые описал в своих книгах. После войны долго не мог устроиться на работу, отказывали, как бывшему военнопленному. Реабилитирован в 1977 году.

почему, но я на морозе решил лизнуть эту ручку, и мой язык приклеился к металлу. Так, поддерживая двумя руками ключ на языке, я поднялся к родителям, и они спасли меня, обильно полив язык с ключом тёплой водой из чайника.

В сенях царствовали крысы. Мама оставила там, в углу за перегородкой, банку с пшеном, и они повадились. Как только кто-то из нас появлялся в сенях, крысы сбегали вниз по перилам лестницы. На это брат соорудил из длинной палки и мешка сачок и ловил их внизу лестничной клетки. Они по одному соскальзывали с перила в мешок, и охотник прихлопывал их поленом. Однажды он поймал сразу двух незваных гостей. А некоторые, более смыслённые, перепрыгивали через зев мешка и убежали. Одного он как-то выпустил в свежее выпавший снег. Крыса проваливалась, барахталась в снежном пуху и убежать не смогла. Воевал с крысами и отец. В памяти осталось, как он несёт извивающегося зверя, зажатого в угольных щипцах вниз по лестнице к приготовленному заранее ведру с водой.

Помню, была у нас маленькая собачка, рыжая, почти красная дворняжка по кличке «Восток». С вислыми ушами, длинной шерстью, похожа она была на охотничью. Я привязан был к ней сильно, вместе мы гуляли, бегали, у неё на ошейнике болтался защитный номерок. Но всё равно в один прекрасный день, когда никто не видел, забрали её собачники. Отец ходил спасать, не получилось. Говорил потом мне, что её украли.

Однажды мы погрузились со всем домашним скарбом в грузовик и переехали на улицу Достоевского, 75. Это был двухэтажный дом, крепкий, ладный. С парадной дверью на крыльце под навесом в небольшом уступе и красивой террасой на втором этаже, обрамлённой крепкими перилами на резных балясинах, с чёрным ходом-боковушкой со двора, которым мы и пользовались. Парадная же с нижней двери до верхней по всей ширине лестницы была завалена каким-то хламом. Первый этаж кирпич-

ный, второй – бревенчатый. Я знал, что такие дома позволялось строить купцам второй гильдии. Полностью же кирпичные имели купцы первой гильдии, бревенчатые – третьей. Но район-то наш, вернее, некогда слобода была не купеческая, а узаконено Академическая, и улица называлась 3-я Поперечно-Академическая. А уж какой дом в те незапамятные времена был по-настоящему академическим, а какой купеческим, кто знает! Потом улица стала 2-й Солдатской, и в 1914-м решением городской думы ей дали имя в честь Фёдора Достоевского.

Когда мы там появились, она была ещё не асфальтированная*, но дорожный грунт был накатан так, что твёрд был, как камень. В памяти, однако, слобода осталась, прежде всего, утопающей в зелени лип и яблонь. Липы росли, естественно, по улицам, а яблони в садах при каждом доме. А во дворе у нас высился могучий дуб. На его разлапистых ветвях гнездилась весёлая детвора, устраивавшая там свои посиделки. Рядом – густая сирень, пышно цветущая по весне и скрывавшая в своей тени лавочку со столиком, которыми пользовались большей частью взрослые домочадцы.

Ныне вся академслобода вместе с садами и дворами снесена и застроена коробками однотипных высоток. Может, они и красивы по-своему, но для меня – все на одно лицо. Когда я заезжаю порой туда, то как-то теряюсь, путаюсь, и единственным маяком в той «каменоломне» остаётся моя родная двухэтажная школа. «Вот, – говорю я внучке, проезжая мимо, – здесь я учился, здесь, в школьном дворе, гонял мяч, а рядом со школой, видишь, многоэтажная грома-

дина, как раз на её месте когда-то стоял мой дом, вернее, весь наш квартал».

Семья наша обитала на втором «господском» этаже в одной комнате с окнами на улицу и террасу. Нам полагалось две комнаты, но до нас одну из них заняла голосистая соседка Амина-апа Камалетдинова с сыном постарше меня Мансуром и усопшим мужем в гробу, со смертью которого в аварийном бараке ей и выписали чрезвычайный ордер. Заветный документ она вложила в холодную длань супруга со словами: «Вот и дождались мы нормального жилья!» Так что наше новоселье совпало с похоронами соседа. На этаже с общей прихожей, превращённой в кухню, и большой русской печью было четыре комнаты. В каждой свои хозяева. За печью напротив Камалетдиновых жили Василий Прокопьевич и тётя Валя Михеевы с дочерью Таней. Таня была постарше и читала мне, дошкольнику, на террасе книжки. Раз уж упомянул террасу, скажу, что она была «красным уголком» нашего «общежития». Здесь мы даже ночевали летом. Родители стелили на дубовом полу одним рядком постели и мы, Мансур, сестра Раиля с Таней и я, подолгу «сказки сказывая», засыпали под неугомонный птичий щебет. Брат Фоат ночевал в расширенном отцовским энтузиазмом сарае, где соорудил себе лежак, обустроил небольшой верстачок, здесь же был у него велосипед, отсюда он и на рыбалку ни свет ни заря отправлялся.

Василий Прокопьевич был хорошим столяром. Он сотворил нам шикарный кухонный стол. Но была у него одна беда – сильно пил. Тётя Валя вскоре умерла. Таню увезли родственники в Йошкар-Олу, а Василий Прокопьевич повесился. Место Михеевых заняла взрослая бездетная парочка. Новый сосед при разговорах как-то беспрестанно мямлил и пшикал, и отец прозвал его за глаза «Мши». А я уже во взрослой жизни стал вспоминать добрую, рослую Таню – где она, что с ней стало? Пишу и так захотелось мне её увидеть! Прощую, юную, какой я её помню.

* Улицу Достоевского заасфальтировали во второй половине 1950-х годов. Асфальт нынче кладут на щебень, тогда – на крепко подогнанные друг к другу тёмные камни. Они были белесо-жёлтые. И дорога до времён чёрного асфальта светилась настоящим золотом.

Четвёртым квартиросъёмщиком ровно напротив нас жил одинокий мужчина лет пятидесяти. Вид и поведение его казались первоначально странными. Довольно высокого роста, сутулый, с бетховенской копной волос и бессменной щетиной на подбородке и щеках, возникал он на общей территории дома весьма шумно, неуклюже и редко – общей кухней не пользовался. Громко здоровался со всеми и поспешно скрывался за своей дверью. На улице же передвигался по какой-то одному ему известной ломаной линии, быстро, порывисто. В руке портфельчик, под мышкой какая-нибудь папка или книга. Вот летит он и вдруг замрёт, как вкопанный, что-то прошепчет себе под нос и вновь набирает скорость. К себе на этаж поднимался, напевая однообразное: «У-ту-ту!» Таким образом, как паровоз, как пароход, без слов, без мелодии он оповещал о своём прибытии, о том, что позади всё нормально, а впереди его ждут уют и море любимой работы. Странный-то странный, но было очевидно, что это человек научный, кроткий, просто с головой в себе, в своём отдельном и необычном мире.

Минуя крыльцо-боковушку, он захватывал из почтового ящика пачку газет и журналов, которые выписывал в неимоверном количестве. Потом, как всегда подолгу размыкал маленьким ключиком игрушечный замочек на высокой двери, сообщая домочадцам по пути, какие журналы к нему сегодня поступили. Я брал у него обыкновенно «Вокруг света» и для брата – «Науку и жизнь». Но всё по порядку.

Его звали Сергей Николаевич Корытников. Он был научным сотрудником Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта. Она располагалась в километрах двадцати от Казани, и он ездил до станции «Обсерватория» на электричке, потом пешком поднимался в гору, где среди хвойного леса на возвышении и находилось место его работы. Отправлялся он туда раз в неделю, по понедельникам, и всю неделю потом работал дома.

Первое время я, пятилетний мальчишка, побаивался его. Но любопытство брало верх, и постепенно, слово на нашей общей кухне за слово я оказался в его странной обители, и повадился так, что мама вытаскивала меня оттуда разве что ко сну. А он работал допоздна, но и вставал утром далеко не с петухами. «На то он и звездочёт, – говорил я. – Звёзды же только ночью светят!» Бывало, заглянешь к нему на огонёк после девяти-десяти (в нашей семье поздно ложились) и застанешь в самом превосходном, бодром настроении. И полетишь с ним в межгалактические путешествия, перенесёшься через века в будущее и с внеземными цивилизациями повстречаешься.

Вся келья учёного от пола до потолка была заставлена книжными стеллажами, выдвигаемыми ящиками картотек звёзд и созвездий – компьютеров тогда не было. Книги и на дубовом письменном столе, и на шкафу, и на подоконнике громоздились. Старинные, от Броггауза и Ефрона до новейших – научных, поэтических, фантастики. Вот на полу у стеллажа стопка журналов, сверху лист обёрточной бумаги с предостережением: «Осторожно, не прочитано!» Вот секция с толстенными книгами, надпись над ними: «Сдать в библиотеку!» Тесно, не дай бог что-нибудь зацепить! Это же не просто жилище было, а настоящее хранилище музейных редкостей. Представьте себе, как это ничего не выбрасывать на протяжении десятков лет жизни! Этот своеобразный *museum* хранил в ампирном серванте театральный бинокль на раздвижной ручке с клеймом парижского астрономического общества *Flam Arion*, кружевные веера, замысловатые брошки, запонки, сюртук с карманом под фалдой, ремень с медной бляхой, на которой красовались крылышки над двумя змейками и аббревиатура «КУ» (коммерческое училище), билеты в синематограф «Унион», монеты с профилями императоров и императриц, пасхальные открытки...

Будоражили моё воображение сувениры, выпущенные к 100-летию Отече-

ственной войны 1812 года: бронзовая статуэтка Наполеона Бонапарта в пороше белёсой патины – руки императора скрещены на груди, у ног жерло пушки и ядро; открытки с видами сражений, на каждой сбоку то часть лица, то шляпы-двууголки, то эфеса шпаги... Каково же было моё удивление, когда сложенные вместе они явили взору одну большую картину с Наполеоном в полный рост. Почему не с Кутузовым? Странное было отношение издателей к славной для Отечества дате.

Но особенный восторг вызывал у меня небольшой телескоп немецкой оптической фирмы *Bresser*, на треножнике, в который мы наблюдали ясными ночами за созвездиями, туманностями, а также за первым искусственным спутником Земли осенью 1957-го... Тогда по радио объявляли, когда и над какой географической точкой пролетит земной посланник, и домочадцы высыпали во двор и ловили взором в звёздном небе одну-единственную движущуюся звезду. Вскидывали указующие персты, кричали: «Вон он, спутник, вон!» А мы с Сергеем Николаевичем попеременно любовались летящей по кремнистому пути звездой, увеличенной кратно астрономической трубой, и он восклицал: «Скоро наступит Великанье Время!», что означало: наступит час, и земляне вырвутся из объятий земного притяжения, устремятся в дальний космос и вступят в контакт с внеземными цивилизациями. Он объяснял мне: «Не может такого быть, чтобы на свете мы были одни, где-то во Вселенной нас непременно ждут братья по разуму или летят уже навстречу!» По сей день удивляюсь, как это ему, учёному, взрослому человеку, рождённому ещё до революции, пережившему непростые удары судьбы, мечтавшему о внеземной жизни, было интересно с мальчишкой, у которого ещё молоко на губах не обсохло.

В тесноте, да не в обиде обитал в этой своей однокомнатной обсерватории астроном Сергей Николаевич Корытников. А раньше-то весь этаж при-

надлежал только его семье. Двенадцать лет было Серёженьке, когда его отцу, уполномоченному продкома по Арскому кантону, предоставили четырёхкомнатную квартиру на втором этаже дома на Достоевского. До него тут жили печатники, которых перевели в центр города поближе к типографии. Но со временем Сергей Николаевич так и остался в одной своей комнате, которую отвели ему ещё родители.

Тепло и хорошо у него сиделось зимними вечерами, когда в печке потрескивали дрова, а на противоположной стене прыгали огненные зайчики. Тяга у печи была прекрасная, гулкая, и чугунная дверца её всегда была распахнута. Под печной гул тот сколько было перелистано книг и альбомов, сколько прочитано! И не меньше услышано!

К своеобразию его обиталища я быстро привык. Но что не переставало поражать, так это память Сергея Николаевича. Она у него была просто феноменальной. Сидя в кресле и подняв высоко руку, он читал нараспев:

**На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.**

Я отвечал ему, что он в обители трудов и чистых нег давно уже живёт. В ответ он пожимал плечами и говорил: «Я о другом. Я о Пушкине. Насколько всё-таки тонко он чувствовал все излучины человеческой души!»

Как-то я процитировал из учебника литературы слова Александра Сергеевича в письме к Петру Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»: «Трагедия моя окончена; я перечёл её вслух, один, и бил в ладоши и кричал: айда Пушкин, ай да молодец!» Это весёлое и живое восклицание понравилось мне. Сергей Николаевич ответил, что и ему эти строки по душе, но вот оказия, Пушкин-то писал не «молодец», а «сукин сын»: «...ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он болезненно переживал своевольные поправки, благие искажения классической литературы.

Наизусть Сергей Николаевич знал не только Пушкина, но и Тютчева, Блока... Александра Блока он как-то особенно любил. Одно время и я увлёкся его поэтическими туманами и очарованными далями. А ещё Сергей Николаевич хорошо знал историю. Пацифист по натуре, в жизни мухи не обидевший, он вдохновенно рассказывал о Наполеоне и двадцати шести его маршалах: «Никогда в истории военного искусства не было такой блестящей плеяды командующих, как маршалы Ней (храбрейший из храбрых), Мюрат, Ланн, Даву, Массена, Бертье...» Особо ценил Сергей Николаевич генерала Анри Бертрана, который последовал за императором в ссылку и на остров Эльба, и на остров Святой Елены, а потом привёз его прах в Париж для перезахоронения в Доме инвалидов. Но не раз напоминал и о Гражданском кодексе Наполеона, давшем французам полноценное гражданство, узаконенные свободу, равенство и братство. «Слава его по большому счёту не в сорока выигранных сражениях, – утверждал Сергей Николаевич, – а в Гражданском кодексе. – И добавлял: – Важнейший документ человечества! По его образцу последовали все прогрессивные страны».

Однако поэзия превалировала. Сергей Николаевич и сам писал стихи. В них заключалась его сущность, идейная, научная, нравственная...

**Довольно смотреть назад!
Пора оглянуться вперёд!
Человек – творец, а не солдат.
Книга сильнее, чем дот.**

Или:

**Умерьте гордость человека,
Ему нести свой страшный груз
От скотства каменного века
В Межгалактический Союз.**

К войнам и всякого рода насилию он относился, как видим, однозначно. А первый шаг в космос Юрия Гагарина просто ошеломил его. Знал бы кто, как ликовал в тот апрельский день одно-

кий пожилой человек в своей каморке на Достоевского! «Началось, началось, – шептал он. – Великанье Время началось! Скоро и в Дальний Космос двинемся, и братьев по разуму обнимем, а уж с земными междоусобицами покончим, мы же существа разумные!»

Да, он верил в неземные цивилизации, в Высший Разум и даже в Межгалактический Союз, тревожился о возможном самоуничтожении землян и надеялся на спасительную помощь со стороны далёких цивилизаций.

**И плавилась
в плазменном пекле народы.
И стала планета
обломком породы.
И кто-то в скафандрах,
огромны, безлики,
Спустились...
Спасатели или владыки?**

Читаю сегодня эти строки и думаю: насколько же они современны! Впрочем, истинная поэзия всегда отличалась актуальностью вне столетий и политических режимов.

Несомненно, эта поэзия и этот образ глобальных мыслей самым тесным образом связывались с его профессией, в которой он тоже был глобален. Как сказал о нём в своё время член-корреспондент АН СССР по физике и астрономии, профессор Борис Михайлович Козырев, искру в работе над библиографией затменных переменных звёзд он раздул до пожара, до общей астрофизической библиографии звёздной Вселенной, то есть взялся за такую тему, которая была бы по плечу разве что целому институту.

Нередко Борис Михайлович заходил к Сергею Николаевичу как раз в то самое время, когда я с очередным визитом гостил у моего старшего друга. С порога профессор восклицал: «Привет верному служителю Урании*!» Кстати, и Борис Михайлович хорошо знал поэзию золо-

* Урания – древнегреческая муза астрономии.

того-серебряного веков и написал замечательную книгу «Письма о Тютчеве». Коллеги подолгу и неспешно беседовали. А я помалкивал и слушал.

В гостях у Сергея Николаевича я сиживал, наверное, не меньше, чем бегал с друзьями на улице. И ничего особенного в том, что и ко мне стала являться муза поэзии. Я начал усердно кропать стихи. Что-то вроде: «Лайка, не лай-ка, лучше лапку дай-ка!..» Или: «На столе стояла ёлка, а в углу – старая метёлка...» Это ещё учеником начальной школы, – может, второго класса, может, третьего. Потом и повесть написал. В звёздных небесах его кельи царствовала тема космических путешествий, внеземных цивилизаций, и закономерно, что первая повесть моя была посвящена полёту землян на Марс. Я и рисунки свои к тексту приложил. Брат сказал: «Рисунки лучше получились». А Сергей Николаевич взял да и напечатал мой текст на пишущей машинке. Не представляете себе, какой восторг испытал я, когда он протянул мне стопку полноформатной писчей бумаги с моим творением – листы белые, буковки на них чёрные, округлые, красивые, выстроились рядами, как в настоящей книге, а словачки-то сверху донизу страниц мои, а язык-то во всю ширь формата мой... И ошибочки незаметно поправлены. Удивительно! Восторженное чувство тогдашнее осталось в памяти навсегда. И рисунки помню. А вот что написал – нет.

Среди молодой пишущей братии я считался поздним, поздно начал. Мои сверстники, да и помладше кто, уже имели свои голоса в литературных кругах, были завсегдатаями различных литобъединений, участвовали на престижных конференциях и «круглых столах», а я оставался в стороне, хотя и работал в молодёжной газете. А потом как-то сразу пошло-поехало, когда при нашем издании открыли «Литературную мастерскую» во главе с признанным в стране писателем Диасом Валеевым. Казалось бы, вот оно начало. К тому же и коллективный сборник с моей повестью «Возвращение», вышедший тогда

в солидном книжном издательстве, так и назывался «Начало». Но нет, как же вычеркнуть из жизни первую мою ласточку, пусть и несовершенно, затерянную и в памяти, и вообще, которая увидела свет в созвездиях тесной каморки наполовину кирпичного, наполовину бревенчатого дома на улице Достоевского, спрятанного в те времена в липовой и яблоневои зелени.

Как поэтичны и красивы годы детства и юности, что и говорить! Но они у меня пришлись на вторую половину 50-х – начало 60-х прошлого века, не на самые житейски благополучные времена. Меня будили в пять утра, и я шёл за несколько кварталов занимать очередь за хлебом и молоком. У Сергея Николаевича не было ни холодильника, ни телевизора. Много позже мы помогли купить ему холодильник-малютку «Морозко». Холодильник появился у нас, конечно, раньше, а до этого мы пользовались погребом в сарае, который брат переоборудовал себе под летнее жильё. Телевизионный экран засветился у нас не первым в округе. Впервые телевизор смотреть мы пошли целой ватагой к Петьке Столярову, у которого отец был лётчиком-испытателем. Расселись, помню, рядами кто на стульях, кто как, и чёрно-белый экран под большим увеличительным стеклом, наполненным водой, замерцал волшебной жизнью. Телевизор тот назывался «КВН-49». Второй в округе телевизор «Звезда» Казанского завода «Радиоприбор» возник у Мунира Латыпова. Его родители работали в промтоварных магазинах, отец на Баумана, мать – на Суконке, напротив кинотеатра «Победа». А у Сергея Николаевича был радиоприёмник «Балтика», и вечерами он ловил на коротких волнах «вражеские голоса». Я же прилипал к его приёмнику по субботам в 21.15, когда по «Голосу Америки» начинался «Танцевальный вечер», где слушал «битлов», «роллингов», Чабби Чекера, Литла Ричарда, Эллу Фицджеральд, Пегги Ли, Элвиса Пресли, Тома Джонса... Звук плавал, голоса любимцев потрескивали, но всё равно

это был кайф! Зато отец первым приобрёл катушечный магнитофон «Gintaras» вильнюсского завода «Elfa», и я усердно записывал музыку «загнивающего запада». Сергей Николаевич тоже между делом внимал звёздам рока и джаза, но мало что в этом смыслил, у него напрочь отсутствовал музыкальный слух, разве что отрывочно переводил мне с английского слова песен.

Надо сказать, был у него ещё допотопный патефон с ручкой для привода в действие. Завода хватало на одну сторону пластинки. Только из-за моего любопытства пару раз запускал он свой раритет. Под шорох старой иглы запомнился мне романс на стихи Алексея Кольцова «На заре туманной юности» в исполнении Сергея Лемешева. Нравился Лемешев мне. В ту пору привычно было сравнивать его с другим лирическим тенором – Козловским, Иваном Семёновичем. Я обоих любил и не противопоставлял. Прошли годы, не раз я слушал и Лемешева, и Козловского, но «На заре туманной юности» услышать больше не удалось. Ни в чьём исполнении.

Вспоминая те солнечные и по ночам звёздные, но далеко не самые комфортные времена, скажу, что мы с братом помогли нашему высокообразованному, но весьма беспомощному в быту соседу с домохозяйством. У нас ведь в «господском» доме не было ни водоснабжения, ни канализации, ни централизованного отопления, ни газа. Водой с колонки, что была на углу через дорогу, снабжал нашего звездочёта неизменно я. Брат чинил всяческую электромеханическую технику, организовывал пилку и колку дров. Да, организовывал. У нас тогда повелось так, что на привезённые в чей-нибудь двор на грузовике брёвна наваливались всем околотком. Весело бывало в такие летние дни. И мал, и стар работали на совесть – пилили, рубили, кололи, складывали поленицы... Если дрова были сырыми, поленицы ставили на дворе квадратно-гнездовым способом, чтобы лучше проветривались; если полешки не надо было сушить, то заносили сразу в дровяники.

Однажды сухой душной летней ночью застучал по жестянке подоконного ската тяжёлыми каплями дождь, и вдруг вся наша комната озарилась ярким светом, и тут же небо будто лопнуло от громового удара, и раздался страшный треск за окном, что глядело на любимую террасу. «В неё попала молния», – подумал я. Но нет, это грозой разряд срезал наш родной дуб во дворе. Он шумно упал в сторону ворот, повалил забор и перекрыл пол-улицы. Не так радостно мы распилили его, раскололи на дрова, на разные заготовки для хозяйства и поделили всё поровну. А сирень вот сохранилась до самого нашего отъезда.

В 1964 году мы всей семьёй переехали на улицу Декабристов в панельный дом, в двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Сергей Николаевич оставил академическую слободу позже. Ему дали комнату в университетском общежитии на улице Гоголя. С удобствами в общем коридоре. Жизнь в разных районах города не разлучила нас. Каждую неделю я ездил к нему. Иногда с братом. Что-то чинили, что-то приобретали для него в магазинах, что-то брали домой почитать.

Я подолгу задерживался у него. Кроме прочих бесконечных разговоров, обсуждали новинки литературы, в том числе и свои стихи. Сергей Николаевич говорил, что в гимназии у них был обязательный предмет стихосложения, и гимназистов учили различным его формам – не только ямба и хореем, но и сонетам, онегинской строфе... У Сергея Николаевича было много стихов – на листах писчей бумаги, страницах школьной тетради в клеточку, в блокнотах... Я посоветовал ему собрать всё вместе. И он занялся этим. Но не с помощью пишущей машинки. Все свои стихи он переписал мелким, каллиграфическим почерком в три общие тетрадки. Таким образом, получилось у него собрание сочинений в трёх томах. Но это заняло длительное время. И по ходу мы живо обсуждали не только архитектуру проекта, но и отдельные стихотворения,

названия глав... Для понимания всего труда вот названия некоторых частей: «Родная Вселенная», «Высший Разум», «Путь к звёздам»... Он был гуманистом, филантропом:

**Тот день потерян, который прожит
Без приношенья руки дарящей.**

И мечтателем:

**Взошёл над миром Высший Разум
И, мир познав, преобразил.**

Добавлю только, автором трёхтомника значился Сергей Гоби. Сергей Николаевич всегда подписывал свои стихи этим псевдонимом. Гоби – одна из крупнейших пустынь Земли. Зачем себе пустыню выбрал, как-то и не спросил даже.

Не разлучила нас и моя служба в армии. Переписывались интенсивно. В письмах было всё – информация, размышления, идеи, стихи... Будто и не расставались.

После армии я поступил в университет, начал работать в молодёжной газете, взялся за прозу. Сергей Николаевич внимательно читал все мои публикации, высказывал замечания... Народились первые мои книжки на белый свет, и вот я принялся за написание романа, в котором главными героями становились подросток и его одинокий учёный сосед, по профессии астроном, по прозвищу «Звездочёт».

Теперь наши разговоры превратились в одно бесконечное интервью. Я расспрашивал о его жизни до мельчайших подробностей, начиная с первых осознанных шагов на этом свете. Он охотно рассказывал, память-то у него, как помните, была феноменальная. И я слушал о его первой астрономической обсерватории на крыше сарая в Козловке, в той самой Козловке на Волге у деда Забродина, который выкупил часть имения у сыновей Николая Ивановича

Лобачевского; о взятии в 1918 году белочехами совместно с каппелевцами Казани; о свержении трудящимися города памятника царскому одописцу Гавриилу Державину; о выступлении Предреввоенсовета Льва Троцкого на победном митинге в казанском городском театре и аэроплане над Театральной площадью в чистом, сентябрьском небе 1918 года...

Я читал ему первые главы, он внимательно слушал, в образы не вмешивался, поправлял только стилистику и кой-какую фактологию. Оценивал сдержанно, можно сказать, вообще никакой оценки не давал, лишь головой седой покачивал: «Ладно, ладно, посмотрим дальше, ведь и до конца рукописи добраться нужно». Писал я слишком долго. Был молод, и пожить хотелось настоящей, невымышленной жизнью, не до письма было каждый день. До конца моего первого романа он так и не добрался. Похоронили его на кладбище Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта.

С тех пор роман неоднократно переиздавался – и отдельными книгами, и в собрании сочинений. Да, я тоже затеял трёхтомник. Но вот о чём постоянно думаю: сколько бы о нём ни рассказывал, сколько бы ни писал, всё равно в полной мере образ этого, с одной стороны, глобального, с другой, уединённого и лишённого всяческого тщеславия и эгоцентризма человека я не передал. Забыл сказать, родились мы с ним в один майский день, только с разницей в пять десятков лет.

Такие вот улицы, такие вот дома и отдельные люди случились на заре моей туманной юности. Естественно, описание моё носит избирательный характер – в дымке далёких лет многое растворяется, а кто-то и что-то, напротив, видится отчётливее, будто в реальном времени, и я пишу их, будто с натуры.

29 апреля 2023 г.